

## Среди книг

с Ольгой Балла

### Капля времени таит в себе вечность. Три польских поэта-мыслителя в русских переводах

Войцех Венцель *Imago mundi* / Перевод с польского В. Окуня [составление антологии, предисловие и послесловие Д. Хек]. — М.: Балтрус, 2020. — 126 с.: илл.; Ян Польковский *Беседы с Ружевичем* / Перевод с польского А. Ройтмана [предисловие и послесловие Ю. М. Рушара; перевод с польского Е. Стародворской]. — М.: Балтрус, 2019. — 199 с.: илл.; Януш Шубер *Круглый глаз погоды и другие стихи* / Перевод с польского А. Векшиной и Н. Кузнецова [предисловие и послесловие А. Суликовского; составление Н. Кузнецова]. — М.: Балтрус, 2020. — 114 с.: илл.

Три книги поэтической серии “Лирика и метафизика”, вышедшие за последние два года в издательстве “Балтрус”, представляют трех польских авторов, очень разных и тем не менее связанных между собой не только формальными рамками издательской серии, но более глубоко: принадлежностью к одному, что ли, смысловому материку. В самом первом приближении Януша Шубера, Яна Польковского и Войцеха Венцеля объединяет то, что каждый из них, при всех различиях между ними, развивающими разные линии польской поэтической традиции, занимает одно из ключевых мест в поэтическом и общекультурном самосознании своей страны. Но в данном случае гораздо важнее, что работа каждого прин-

ципально для тенденции, обозначенной самим названием серии: объединением в поле одного взгляда лирики и метафизики — как родственных друг другу и взаимодействующих между собой способов мировосприятия и мышления. Все они, представители разных поколений, обладающие разным интеллектуальным темпераментом, выполняющие вполне различно устроенную смысловую работу, — поэты-мыслители, причем в этом определении оба слова важны в равной мере. Насколько можно понять, такой тип позиции, у нас довольно редкий, для польской поэзии — один из характерных. Через эти три, по видимости произвольно (на самом деле нет) взятые точки, можно провести как минимум

внятную линию — а то и целую плоскость.

Общность их становится видна уже из статей, сопровождающих каждый сборник, — корпус поэтических текстов в каждом заключен в теоретическую рамку: предисловие и послесловие. Эти сопроводительные тексты, особенно взятые вместе, напрашиваются на название мини-монографий, поскольку, рассказывая о жизни и работе авторов, встраивают их в большие исторические и культурные контексты, не только польские, но и мировые. (Кстати, предисловия были написаны специально для русских изданий, поскольку русскому читателю далеко не все в обстоятельствах авторов книг известно и понятно так же, как их польским соотечественникам.)

Задачу соединения лирики с метафизикой, повседневного бытового опыта — с корнями существования и локального мышления — с общемировым масштабом восприятия три поэта решают с разных сторон и разными средствами, но движутся в одном направлении. Поэтому троекнижие “Балтруса” имеет полное право быть рассмотренным в целостности — как адресованная русскому читателю трехтомная хрестоматия современного польского поэтического мышления.

Попробуем же — на основе этих трех точечных (зато насыщенных) проб из моря польской метафизической поэзии — выследить некоторую тенденцию в ее движении, хотя бы что-то похожее на нее, если возможно.

Самый старший из поэтов, Януш Шубер (родившийся в 1947-м и, к сожалению, умерший в прошлом году), — гений места, выявитель и создатель смыслов своего родного города — подкарпатского Санока. В этом смысле он сопоставим с другим великим поляком, *genius loci* (неподалеку, кстати, расположенного) Дрогобыча — Бруно Шульцем. Только Шуберу в некоторых отношениях было гораздо труднее (читатель вскоре увидит почему), зато судьба его оказалась существенно более счастливой: в последние двадцать лет жизни он обрел и собеседников, и известность, и всепольскую аудиторию.

Вообще, по всем приметам, Шубер, человек совершенно свой собственный, должен был бы стоять особняком, потому что до конца прошлого века оставался неизвестным. Из Санока он с молодости не выезжал вообще, поскольку, начиная с двадцати двух лет, передвигался на инвалидной коляске из-за болезни. “Псориатический артрит, неизлечимая болезнь, имеющая ревматическую природу”. Зато у него были такие пространства свободы и силы, какие большинству разъезжающих по свету и не снились, — не говоря уже об образовании и кругозоре, которые он себе наработал за время затворничества. (Уже сама его биография, практически целиком внутренняя, имеет все основания быть прочитанной как осмысленное, весомое высказывание.)

Особняком Шубер, на самом деле, не стоял: даже будучи провинциальным затворни-



Ян Польковский, родившийся в 1953-м, на первый и поверхностный взгляд может быть воспринят как чуть ли не противоположность Шуберу: с юных лет он был включен в политические процессы как их активнейший участник. Он, поясняет в предисловии к сборнику Юзеф Мария Рушар, — “одна из самых деятельных и бескомпромиссных фигур, чей литературный и общественный вклад в польские метаморфозы последнего времени трудно переоценить”. Дебютировавший в самиздате в 1977-м и ни единого разу не “запятнавший” себя, как выражается тот же Рушар, публикациями в подцензурных изданиях социалистической Польши, принадлежавший к зарождавшейся тогда в стране оппозиции, Польковский “активно участвовал в подпольном издательском движении”, во время военного положения (1981—1982) сидел в тюрьме (где продолжал писать стихи), а после падения режима в 1989-м занялся созданием новой культуры независимого государства: издавал журнал и ежедневник, был пресс-секретарем польского правительства... и двадцать лет — до 2009-го — не писал художественных текстов.

Казалось бы, у человека, как нельзя более далекого от вечности, были заботы поважнее. Но вот уж точно не стоит торопиться с выводами — тем более, что первой в серии “Лирика и метафизика” неслучайно стала именно книга Польковского.

Вся она — поэтический диалог-спор с польским классиком Тадеушем Ружевичем,

занимавшим в отношении коммунистического режима (категорически чуждую Польковскому) принимающую позицию. Таким образом, сборник, будучи целиком польскоязычным (и теперь, соответственно, целиком же переведенным на русский), — оборачивается своего рода билингвой: в нем как бы сталкиваются два языка описания мира и социального пространства, два угла зрения на него. Поэтический разговор, в котором на каждое стихотворение собеседника-оппонента поэт отвечает собственным, — форма, столь же хорошо освоенная польской литературой, сколь нова для нашей, — и вот бы оказалась она у нас укоренена и продолжена. Здесь ведь важно то, что инаковидящий, инакопонимающий собеседник получает точно столько же места в книге, что и отвечающий ему автор, прочитывается как равноправный с ним. Как способствовала бы такая организация текстов развитию диалогичности мировосприятия!

Так, стихотворению Ружевича “Не клади мне руки на сердце” — памяти активиста, участвовавшего в коллективизации и убитого крестьянами (“В населённом пункте Чёнженец / палками насмерть забили / Леона Мачеевского / коммуниста”) — поэт отвечает от имени жертв коммунистического режима — изнутри их опыта:

На землю кладу голову  
в камере замыкаю будущее  
под чужою могилую рою  
под мерзлотой молчанья

ищу пуговицы и зубы  
из которых построю дом

<...>

Ничто кладёт кость на кость  
из кости выпадает пуля  
нежит мечты палача  
в поисках нового мира

Говоря о смысле и оценке новейшей, еще кровоточащей истории, Польковский говорит напрямую о природе зла, о связи слова (особенно — поэтического) с истиной, о смысле существования, о человеческой сущности, — в точности как Шубер, размышляя о своем Санокке, видит в его облике мир в целом. В поэтическом диалоге с оппонентом он проясняет и выговаривает своё понимание общечеловеческих координат. Не говоря уже о том, что в основе всей его лирики — глубокая “убежденность в религиозном смысле собственной жизни и присутствие Бога в человеческой истории” (Рушар), и его политическая активность тоже может быть понята как служение предельным ценностям и Тому, Кому они обязаны своим существованием.

Самый младший из поэтов-мыслителей — Войцех Венцель, родившийся в 1972-м (подобно Шуберу, провинциальный житель, по доброй воле не выезжающий из Гданьска, даже из одного его района — Матарни; из провинции вообще многое виднее), — с одной стороны, известный в своей стране эссеист и фельетонист (эта сторона его работы в книге не представлена), с другой — продолжатель традиций польского неоклассицизма, встраивающий современную ему поэзию в глубокие ис-

торические связи. Венцель-поэт мыслит архетипами и образами мировой культуры, в единстве которой совершенно уверен, и этим символическим языком говорит напрямую об истоках и устройстве мироздания. Его стихи, по словам комментатора книги Дороты Хек, утоляют “тоску по надежности” и предлагают живую, наглядную, переживаемую читателем в непосредственном опыте “модель порядка”, причем такого, который далеко превосходит человека и как таковой от человеческого произвола не зависит. При этом — и тут снова вспоминается санокский отшельник Шубер, чей взгляд, казалось бы, устроен был совершенно иначе, — в этот универсальный, космический, сакральный в своих основах порядок Венцель вписывает повседневность как его воплощение и продолжение. “В поэме ‘Святая земля’, занимающей центральное место в творчестве Венцеля, — говорит Дорота Хек, — родительская спальня становится эквивалентом вифлеемского вертепа”.

Эта поэма в сборник не вошла, зато включена сюда другая поэма Венцеля, именем которой названа вся книга, — “Imago mundi”, “Образ мира”. Начинаясь с сотворения мира, она уводит читателя в глухие задворки родной автору Матарни — и чем они глуше, тем виднее оттуда основы существования:

так столетьями длится общенье  
успоших  
на погосте в Матарне под небом  
свинцовым

